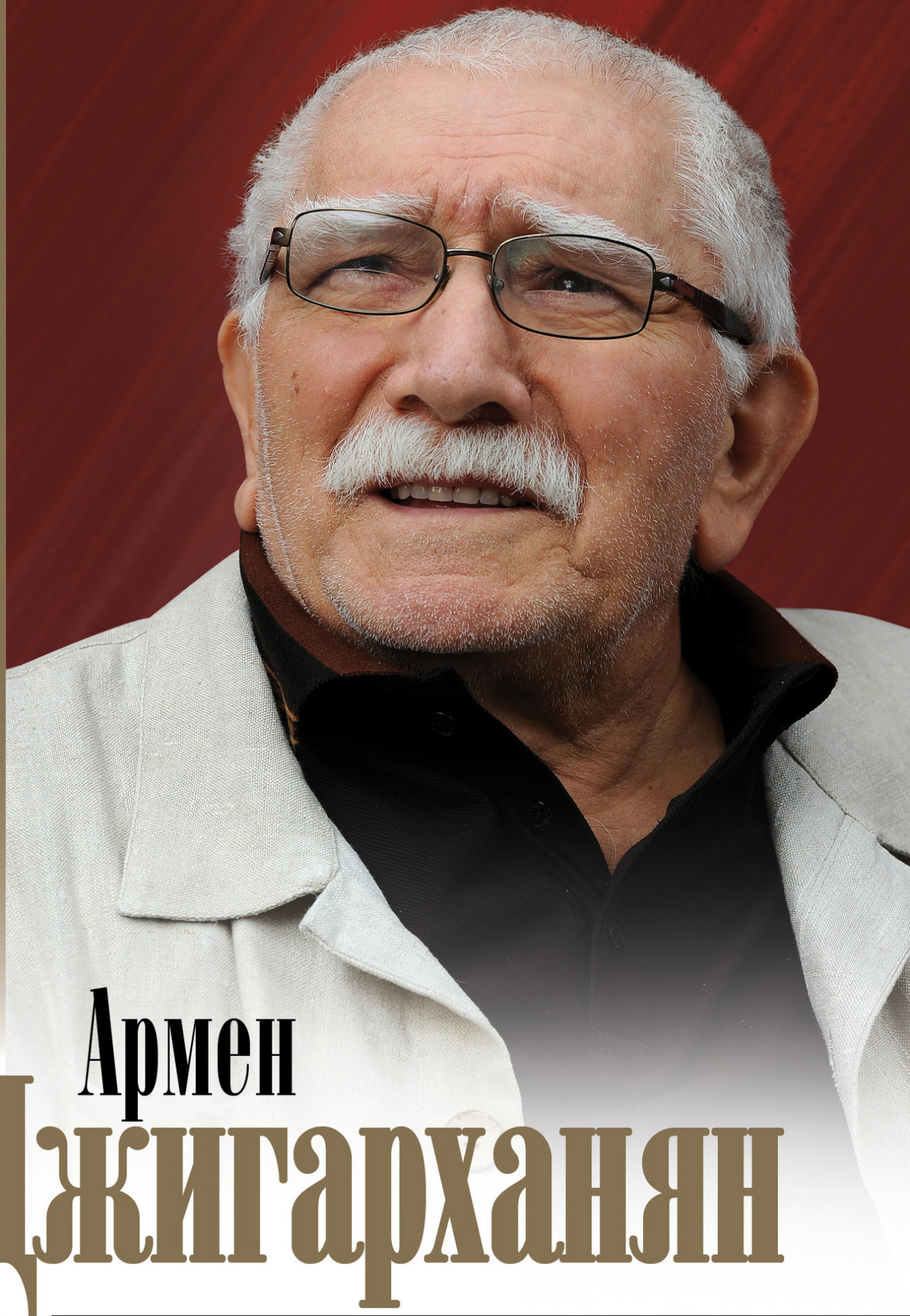


Святослав Тараховский



Армен
Джигарханян

То, что отдал — то твое

Биография эпохи

Святослав Тараховский

**Армен Джигарханян:
То, что отдал – то твое**

«Издательство АСТ»

2020

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Тараховский С. Э.

Армен Джигарханян: То, что отдал – то твое /
С. Э. Тараховский — «Издательство АСТ», 2020 — (Биография
эпохи)

ISBN 978-5-17-134378-1

Книга Святослава Тараховского — это художественное исследование жизни замечательного актера Армена Джигарханяна. Что значит театр для главного героя? Какие мысли занимают его гениальный ум? Что за чувства скрывает его горячее сердце? Как выстоять, если рядом плетут интриги и за спиной готовят предательские проекты? И как быть, если вдруг нахлынула на него как цунами последняя возвышенная любовь? На эти и многие другие вопросы дает ответы роман. И что особенно важно — показывает, как актер Джигарханян повлиял на развитие русского кинематографа и театрального мастерства и насколько эти два искусства повлияли на него самого. В формате PDF А4 сохранен издательский макет.

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-134378-1

© Тараховский С. Э., 2020
© Издательство АСТ, 2020

Содержание

«К нему вернулись слова и монологи»	6
1	7
2	11
3	13
4	14
5	16
6	22
7	25
8	26
9	28
10	29
11	30
12	33
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Святослав Эдуардович Тараховский

То, что отдал – то твое

Роман

Автор и издательство благодарят за работу над книгой Артура Согомоняна и Аллу Николаевскую

*** * ***

© Тараховский С. Э., 2020

© Согомонян А. Ш., 2020

© РИА Новости

© ООО «Издательство АСТ», 2020

«К нему вернулись слова и монологи»

Несколько слов вместо предисловия

Роман, как явствует из названия, посвящен жизни и судьбе легендарного артиста Армена Джигарханяна.

Ставлю себя на место автора и понимаю, как трудно писать о творческих личностях вообще, тем более о такой мощной фигуре, как Армен Джигарханян.

Однако, как читатель и друг Армена Борисовича, проживший рядом с ним всю свою сознательную жизнь, могу заверить вас, что и читать многое из того, что написано о Джигарханяне, не менее трудно. То и дело спотыкаешься на недостоверности, непонимании, а то и на откровенной лжи, сочиненной ради красного словца и коммерческого успеха.

Слава богу, роман С. Тараховского подобных недостатков лишен.

Наоборот. В описании главного героя в романе присутствует тонкая бережность, достоверность и искренность – вплоть до деталей речи, которые известны всем, кто хорошо знает Джигарханяна.

Книга С. Тараховского – не биографическое повествование, но художественная проза, и одновременно это исследование, которое успешно осуществляет автор. И суть его исследования – попытка найти ответы на вопросы о смысле жизни и судьбы большого артиста. Что главное для Армена Борисовича? Любовь к театру? Бесспорно, да. К жизни? К музыке? Конечно, да. К молоденьким артисткам? К юмору и философскому восприятию жизни? Скорее, да... Или, напротив, страх перед молодостью, надвигающейся старостью, немощью и болезнями? Скорее, нет...

Вот суть характера Джигарханяна: «За четыре дня до премьеры далекий, почти изгнанный фантом театра неожиданно превратился в нем в ощутимую реальность, в ноющую, растущую, в ни на минуту не покидающую душевную боль. Он уже не думал о природе, о счастье покоя и одиночества. Спал плохо, а, если все же засыпал, просыпался с одной и той же мыслью.

О спектакле.

Но и этого было мало – он вдруг реально ощутил в себе кошмарное желание сыграть короля. К нему вернулись слова и монологи, и целые куски роли, руки и ноги стали ходить, как у Лира, – он начал в себе это подмечать. Чертовщина и наваждение, магия Шекспира, думал он, но поделаться с собой ничего не мог. Спектакль, только и думал он, я – Лир, а все остальное: природа, грибы, так называемое счастье и даже Татьяна – бессмыслица. Никто и ничто не сможет помешать моему театру».

Не только театр и кино создали Джигарханяна, но и Джигарханян всем своим творчеством создал и дополнил русский театр – сделал его театром острым, резким, парадоксальным, драматичным, юмористичным и трагедийным, но никогда не скучным...

Артур Согомонян

1

Все события и герои этого романа вымышлены. Любое сходство с реально существующими людьми случайно. Кроме главного героя – Армена Борисовича Джигарханяна

Вау, вашу мать! Вау!

Заведующий литературной частью театра, он же завлит, Юрий Иосифович Осинов, (с ударением на первом слоге, так требовал он сам) выпячивая на выдохе губы и паровозно пыхтя, поднимался по лестнице на второй этаж. Он был вызван художественным руководителем театра к двенадцати, как всегда опаздывал, нервничал и прибегал к матерку. Лестница была старинная и крутая, обноски выцветшей ковровой дорожки выворачивались под ногами.

«Театр, вашу мать, – думал на выдохе Осинов. – Где оно, чудо театра? Почему так? Куда девается интрига и тайна на нашей конкретной сцене, куда проваливается фантазия и смелость? Чудо театра, где оно? Почему у одних оно есть, а другие его лишены и терпят провал за провалом? Режиссеры плохие, артисты, тексты, я завлит? Тайна, все мировая тайна».

Он с ненавистью глядел на ступени. Раньше летал по ним пташкой, теперь, хоть и было ему немного за пятьдесят, тащил на ногах гири. Да и зачем он, собственно, идет к худруку, размышлял Осинов. Раз вызвал, наверняка сообщит гадость или нечто такое, что заставит работать или, по крайней мере, напрягать мозги, чего, за такую зарплату, тоже не очень хотелось. Однако, жаловаться и ныть было поздно.

Мышь перебежала перед ним ступеньку. Обыкновенная серая норушка, пресекла ему путь и юркнула в невидимую нору. Осинов брезгливо вздрогнул. Подлая тварь, подумал Осинов, откуда она здесь? Тут вам, господа, не Япония, даже не Китай! Там, заметив мышь в театре, устроили бы шумный праздник с фейерверками – там она символ удачи, процветания, счастья, но в русском психологическом театре Станиславского мышь на лестнице фойе это скандал и повод для вызова вооруженной охраны. «Мне-то что, – подумал далее Осинов, – я любую мышь затопчу одной левой, а как среагируют на мышь тонкоорганизованные артистки театра, скажем, Башникова? Известно как. Криком, потерей сознания, Скорой и претензиями по премиальным выплатам. Мышь в нашем театре – дурная примета», – предположил Осинов. Очень дурная.

Он не ошибся.

Едва миновал цветастую дорожку коридора, едва ступил в священную зону начальственного обитания, едва коснулся почтительным стуком двери кабинета, на которой бронзовела любимая, прости господи, фамилия, как из нутра – слышит он что ли через стену? – раздался скрипучий, незабываемый голос:

– Иосич? Заходи на расправу, смерть примешь.

Шутит, сразу отметил Осинов. Плохо.

Джигарханян был сед, мудр, крепок, нетороплив и в движениях экономен; в разговоре предпочитал народную мудрость: поговорки, присказки, байки. Он был великим и любимым артистом, всенародная слава обняла его давно и до сих пор не выпускала из объятий, он мог не появляться на экране годами, но каждое редкое его появление вновь вызывало восторг. «Мы тебя не больно зарежем», – до сих пор повторяла страна.

Сейчас он восседал царем в широченном, обитом кожей итальянском кресле, подаренном ему труппой театра на очередной юбилей. Сколько их было? Мелькнуло у Осинова – сразу и не вспомнишь. Самородок, гений, царь, худрук – кому же, как не ему быть царем? Царь, царь, истинный царь, который никогда не ошибается. Царь и крепость. Царь-надежда. Чудо театра,

где оно? Вот оно где, только в нем. Когда-нибудь я о нем напишу, подумал завлит, обо всем напишу, всю правду поведаю народу, и пусть народ сам решает...

– Заходи, сын, – заворочался, заворчал худрук. – Заходи, талантище, заходи, золото мое. Бери стул, присаживайся...

Хвалит, подумал завлит. Совсем плохо.

Приятные и похвальные обращения ничего не означали. В театре к ним привыкли и внимания не обращали. А с некоторых пор лестных обращений стали побаиваться, они означали затишье перед срывом, головомойкой и увольнением.

Тучи сгустились, чернели, но расправа пока не грянула. Не дрожать, мелькнуло у Осина в спинном мозге. Может, пронесет.

На столе перед худруком традиционно золотились напитки, играли огнями зерна граната, млел рассаженный надвое арбуз, сверкал виноград, истекали сладостью груши.

Завлит покорно подсел к столу, отказываться перед смертью не имело смысла.

– Армяне пьют коньяк, – сказал худрук. – Я обожаю армян, поэтому пью виски. Ты как? Попробовал бы завлит отказаться. Лучше не надо.

– Да. Конечно, – сказал завлит.

Вытянулась мохнатая рука худрука, плеснула в стекло любимый виски Туламор.

– Пей. – сказал худрук. – Ты настоящий друг артистов. Пей на здоровье. Хотя, с другой стороны, зачем оно тебе?

Действительно, зачем? Что яд, что виски – смерти не помеха. Завлит молча выпил. Виски был очень хороший. «Последний виски перед казнью», – подумал завлит. Теперь уж точно, не пронесет.

Он деликатно закусил одной черной виноградиной и взглянул на худрука. Их взгляды сшиблись в пространстве и погасли в стороне без искр и симпатий. Худрук отвел темные глаза и углубленно занялся арбузом.

Нервы у завлита не выдержали. Погибнуть сразу, подумал он, ей-богу легче, чем, закрыв глаза, бесконечно ожидать удара занесенного над головой топора.

– Зачем вызывали, Армен Борисович? – спросил Осин. – Добрый день. Я весь внимание.

– Не догадываешься? – загадочно ответил худрук и погрузил лик в арбузную мякоть. Пауза была озвучена шумным всасыванием арбуза и нарочитой неторопливостью.

«Держи паузу, старый артист, – с раздражением, разбавленным уважением, соображал Осин. – Долго держи, у тебя это получается. Но ведь когда-нибудь она закончится? Я подожду».

«Жди, – словно в ответ завлиту думал худрук. – Сыграем психологический театр. Я измучаю, измочаю тебя паузой. Изведу, изничтожу, на колени поставлю! Заставлю всех вас, пьяниц, лентяев, педерастов и предателей работать! Станиславский мне поможет!»

Арбуз был съеден. Корка отодвинута в сторону. Пауза длилась.

Худрук был броваст, суров, но в сердцевине своей справедлив и мягок. Он карал и жаловал, терял и приобретал, но никогда ни о чем не жалел. Все, что с ним и в пределах его рук и возможностей происходило, было его жизнью, а как может человек, думал худрук, сожалеть о собственной жизни? Смысла не имеет.

Он не сказал завлиту ни слова, но бровь его гуманно дрогнула, рука снова вытянулась щупальцем и наполнила дорогим виски стакан родного завлита.

– Пей! Закусывай, Иосич. Может в последний раз.

– Я на работе, – отозвался Осин с твердым намерением стоять до конца. – Не имею права.

– Это временное препятствие. Извини.

– Вы хотите сказать, что...

– Я хочу сказать... – Худрук откинулся на спинку кресла, прикрыл глаза, взял дыхание, открыл рот, и Осинов увидел и услышал...

– Да, игрушку мы профукали...
Протетенили, прозяпали,
Нет бы где-нибудь на севере,
Так ведь это же на Западе!..

Худрук умолк, уронил усталые руки...

Завлит онемел от счастья. Как было сыграно это четверостишие!

Другой человек сидел сейчас перед Осиновым. Не народный, не худрук, даже не артист. Бард, баюн, говорун-симпатяга, вагонный пьяница, обаятельный полубомж, тот самый древний, коренной, советский еще человек с вокзала или забегаловки, да что там – сам народ сидел сейчас перед завлитом – с заскорузлыми ладонями, работающий, терпеливый, великий и простой российский народ. Народ, над которым творятся эксперименты. Народ, которому всегда трудно. Народ, которому можно простить все.

Ничто не радовало завлиту в последнее время – но восхищало, как и прежде, только одно: реальное искусство. Искусство, на которое он только что налетел словно лодка и пробил днище. Он вмиг забыл все обиды и заново возлюбил худрука, великого носителя чуда искусства.

– Кто написал? – спросил худрук. – Чьи слова?

Осинов скромно пожал плечами, склонил на сторону голову, растерялся.

– Плохо знаешь, – сказал худрук. – Мало знаешь. Не то, что надо, знаешь. Ничего не знаешь. Потому и театр наш в жопе.

Насчет жопы было слишком. Осинов слегка обиделся и задал в лоб прямой вопрос:

– Почему вы считаете, что мы в таком заповедном месте?..

– Честно тебе скажу: потому что знаю! Не остри, Иосич, пей, закусывай, молчи... Зал у нас пустой! Сплошной обсер. Молчи! Никто на спектакли не ходит. Молчи! Думаешь, не знаю, что ротами пожарников из части привозите, чтоб видимость публики создать – все знаю, доброхотов и предателей много больше, чем ты думаешь. И касса пустая – что с солдата возмешь? Портянки?

– Портянок давно в армии нет, – обороняясь, буркнул Осинов.

– Есть, Иосич, есть, – не согласился худрук. – Портянки у тебя в голове. Извини за слово «в голове».

– Спасибо. Я могу уйти?

– Сиди, – приказал худрук.

Завлит отодвинул от себя стакан – худрук такую мелочь вниманием не удостоил. Он выставил как указующий перст кривоватый сухой палец. Продолжил:

– Там наверху тоже все знают! Деньги нам из бюджета дают, а вот возьмут и перестанут на ветер цветные бумажки бросать. Мне уже намекали, Иосич, да что там намекали – прямо озвучили: так и будет!.. Скажу тебе со всей большевистской прямоотой: они будут правы... И виноват во всем единственно только ты, Иосич. Молчи! Прямо тебе скажу: плохой ты завлит...

«Господи, – подумал замученный завлит, – а хватить бы тебя сейчас дед по затылку той тяжелой мраморной пепельницей, что стоит у тебя на столе, и муке конец!.. Потому что виноваты вы, Армен Борисович! Виноваты вы, а все валите на меня. Рыба гниет с головы!» – хотелось крикнуть Осинову, но он сдержался. Снова глотнул с налета виски, заел виноградиной и понял, что сетью половодья не сдержать... «В одном он прав, – признал про себя Осинов, – я завлит плохой. Ленивый и нелюбопытный. Он плохой худрук, я плохой завлит. Вперед, труппа театра, вперед, к новым творческим свершениям!»

– Раньше вы меня хвалили, – вслух сказал он. – Говорили, что могу...

– Раньше было раньше, Иосич. Пьес хороших нет, репетировать нечего, актеры разбегаются по сериалам, они как дети, им вместо игрушек пьесы нужны, а ты что им предлагаешь?! Попки-жопки?

– Ну, почему же... – вяло возразил завлит, – у нас есть русская классика...

– Молчи!.. – худрук поднялся из-за стола, невысокий, крепкий, кряжистый, чуть склоненный вперед будто горбатый – не спеша двинулся по кабинету, мимо подаренных картин на стенах, афиш, каких-то пожелтевших дипломов – остановился за спиной у Осина, и завлит затылком и плечью ощутил его приблизившееся опаляющее внимание... – Хватит русской классикой прикрываться! Помнишь, как мы с ней обосрались в позапрошлом сезоне?

– Хорошее не забывается, – мрачно кивнул завлит.

– Вот и молчи. Молчи! – с силой повторил худрук. – Классику не трогай, у нас не Малый театр, не дано... Ты мне современную пьесу найди, такую, чтоб... – он сжал худой и крепкий, костистый кулак... – Видишь, время какое? Что на дворе творится – видишь? Все кипит и сплошь пузыри! Сплошной твиттер, инстаграм – извини за слово грамм – футбол и хоккей! Плюс фитнес, плюс реклама, плюс банки и проценты! Народ на фу-фу в театр не заманишь, ему настоящие пьесы нужны, плюс мысли, которых у тебя нету, плюс новая энергетика! Так что ты, золотко, что хочешь делай: бегай, прыгай, кричи, кувейкайся через жо, но пьесу найди! Острую найди, радикальную, провокационную, на грани запрета – бомбу мне найди! Хорошо меня слышишь? Ты театр погубил, ты его и спасешь! Честно тебе скажу: не спасешь – всех погубишь, себя – первого! Мне нужна сенсация, лом в зале и аншлаг в кассе, чтоб билеты за полгода нарасхват рвали, чтоб спекулянты за билеты друг друга резали! – ты понял меня, талантище?! Мне нужна такая самоигральная пьеса, чтоб любой артист Пупкин играл как Табаков, чтоб любая артистка Сиськина играла как Доронина!

– Где же я такое найду?... – завлит был обескуражен.

– Страна у нас плохая, трудная – знаю, но не настолько, чтоб на всю страну пьесы подходящей не нашлось! Ищи. Ищи, как хлеб ищут. Ты будешь искать, я буду искать, все будут искать. Но спрос с тебя. И ответ – с тебя...

Осин вдруг ощутил самое страшное мужское ощущение. Бессилие. Как когда-то, когда любимая девушка сказала ему: «еще», ему стало страшно, потому что он знал, еще раз он не сможет. Слова худрука напомнили ему ее слова. Он обмяк. Беспощадное наше время, подумал он. Моя беспомощность, мой конец.

– Честно тебе скажу: я тебя не просто уволю, – продолжал наезд худрук. – Я тебя растопчу, измельчу, превращу в пыль: дуну – разлетишься. Чтоб ни один театр близко к себе не подпустил...

– Понял, – сказал завлит и притих. Мыслей не было, чувств тоже. Жгла боль и несправедливая обида.

– Понял – иди, – сказал худрук, отвернулся и глухо, театрально добавил. – Иди и помни: каждое мое слово – правда. Чистый Шекспир.

Как он встал, как подняли его ноги и довели до двери, завлит не запомнил. Запомнил почему-то одно: как уже, взявшись за бронзовую ручку, задал худруку идиотский вопрос:

– Скажите, Армен Борисович, кто те стихи про игру написал, ну, которые они... про... зяпали?

– Иди, – сказал худрук. – Иди, плохой завлит. Болтаешь много о классике, а классику не знаешь... – Следом за закрывшейся дверью, он опустился в кресло и махнул виски. – Педерасты. Галича не знают. Вот с кем приходится работать, – добавил худрук и от обиды слегка, по-старчески прослезился. – Всех разгоню. Педерастов, предателей и пьяниц – всех по ветру раздую!..

2

Как он оделся и вышел на улицу, заплит не запомнил.

Холодный воздух остудил голову, охладил нервы, но несправедливость и боль все еще выжигали сердце. Он отошел от театра метров на тридцать, плотнее натянул на уши шерстяную финскую шапку-чулок и оглянулся.

Присыпанное снежком, лишенное пристроек и парадного подъезда старое здание театра торчало нелепой загогулиной, окруженной современными постройками. Когда-то здание было кинотеатром, но в новые времена за ненужностью городу и по праву славы оно было передано театру Армена Д. Строение переделали ловко, но, как принято, наполовину, и родовые киночерты наполовину остались в его новом облике. Возник гибрид, который многие называли уродом. «Старье, старье, никому не нужное и тебе не нужное – кинотеатральное старье», – переживая, отметил для себя Осинев. Но именно здесь и сейчас ткнула его тупая игла в сердце, именно здесь и сейчас он смертельно осознал, как бесконечно любит этот театр – с его пылью, кулисами, интригами, завистью, бездарностью, провалами и взлетами. Он еще раз взгляделся в театральные фонари и афиши. «Любите ли вы театр, как люблю его я?..» – шепотом прошептал он себе извечный Белинский вопрос и шепотом себе же ответил, что вопрос не по адресу – он, заплит, любил театр, и жизни своей без театра не мыслил. Он любил артистов, но не любил худрука. Он обожал худрука, предан был ему как пес, но не уважал себя, заплита, за свою работу – он был натурой сложной и в конечном итоге всегда и во всем благородно винил себя.

Однако с пьесой надо было что-то решать. «Пойди туда не знаю куда, принеси то, не знаю, что», – вспомнилась ему старинная русская сказка, которая когда-то забавляла его тем, что не имела решения и подсказок. Но расписываться в поражении и заранее сдаваться ему не хотелось, не таков он был человек. Осинев заглубился в метро, смешался с народом: студентами, курьерами, приезжими, работягами, проститутками, пенсионерами, криминалом и прочими составными частями народа, и, глядя на них, самокритично себе заявил, что, если он уйдет из театра, театру и народу лучше от этого не будет. Да, повторил он себе еще раз под грохот подходившего поезда, так оно и есть.

Однако с пьесой надо было что-то решать. «К кому бы обратиться, с кем посоветоваться, где искать сумасшедший текст? А-а!» – осенило его, он знает к кому обратиться, точно, помочь может только он, его дружок и звезда театра Олег Саустин!.. «Или? Или? – он опять, словно по кругу, вернулся к прежней идее, – может, все-таки уйти? Бросить чудотворного мучителя худрука, театр, пыль, проблемы, зависть, интриги, вздохнуть полной грудью и наладить новую жизнь? Да, уйти!» – утвердился он было на этой последней разумной мысли, двери вагона захлопнулись; поезд понемногу взвыл и умчал Осинева в бездну тоннеля и безвременья.

Но здесь в черной бездне, под стук колес, меж станциями «Университет» и «Проспект Вернадского», среди чужих ног, спин и глаз в голову ему влетела еще одна простая и лихая дилемма. Надо было либо найти пьесу, либо... идея, что посетила его, была так отвратительна и глупа, что он не сразу решился ее сформулировать. «Либо, – еще раз повторил он, словно для разгона и все же решился идею оформить словесно, – как бы сделать так, чтоб... свалить и удалить из театра худрука!» Сформулировал и сам себя испугался. Свалить самого худрука? Великого деда, который когда-то пригласил его, безвестного юношу Осинева, из областного театра Пензы в Москву? Невероятная, нереальная глупость и гадость, достойная неблагодарного идиота, и хорошо бы, чтобы о ней никто никогда не узнал. Или... подумал он и похолодел, а что, если свалить гениального худрука и есть то самое главное его достижение, к которому всегда готовила его жизнь? Подумал так и жутко стало самому, потому что понял, что, наверное, это и есть правда. «Есть оружие более страшное, чем ложь – это правда», – вспомнилось ему к месту великое изречение Талейрана.

Поезд сбавлял ход, приближалась станция. Станция рокового решения, усмехнулся Осин.

«А что, – понемногу успокоил себя Осин, – почему бы, собственно, и не свалить? То звездное, то победное время великих премьер давно миновало, кануло в лету, и что теперь? Провалы, попреки, унижения, рота солдат на спектаклях и вечное недовольство! Несправедливо, обидно и горько. Обсер, обсер, обсер. Как будто все дело во мне, а не в том, что изменилось время, и поезд нашей удачи уже ушел... Хватит, дед!» Тебе пора подвинуться на почетный покой, и он, наглый Осин, знает, как это сделать! Он, Осин, зав. литературной частью, в его памяти целый мир пьес, он не будет ничего придумывать, для начала он возьмет из пьес что-нибудь самое безобидное, всего лишь организует небольшой слушок, стовор, он пустит по театру легкий компромат, облачко, сплетню, что разрушит со временем любую добрую волю, любое доброе имя, и все это будет вполне в театральной традиции. Чистый Шекспир. Подумал так – тотчас передернуло его от собственной черной подлости, он попытался отогнать от себя идею-наваждение как нелепую, неуклюжую шутку, но идея не исчезала, чем яростнее гнал ее от себя Осин, тем все прочнее она располагалась в нем, наконец, сообразил он, она поселилась в нем рядом с его собственным злом. А зло, подумал Осин, изначально и вечно живет в каждом человеке, стоит его только разбудить, подкормить и дать волю. «Вот, оказывается, я каков!» – удивился собственной натуре Осин, вот на какие подвиги способен! А что, круто! В духе беспощадного и беспомощного времени. Значит, так тому и быть...

Станция. Двери вагона разъехались, заставили Осина шагнуть на перрон. Шаг, другой, третий. «Так и пойдем к справедливости, – сказал себе завит, – неторопливо, шаг за шагом, до самой победы...»

Но нет, вдруг решительно остановил он себя и окончательно понял, что самоотравился собственной фантазией. Нет, нет и нет. Гораздо проще найти хорошую пьесу, надо искать лучше. Да, да, да!.. Или... или все-таки злое дело много легче и, значит, свалить легче, и все дело в том, чтобы перековать идею зла в нечто действенное, продуктивное. Спроси Шекспира, Осин!..

Придержав мысли, он поднялся из подземелья на поверхность Москвы, достал смартфон, нашел пальцем номер и приложил аппарат к покрасневшему от волнения уху. Долго не отвечали, но Осин был упорен.

3

В три минуты все было кончено.

Звонил мобильник, они не реагировали.

Аэродром был широк. Общая фигура распалась на далеких раскатившихся две. Он отыскал ее пальцы на другой половине поля, сплел со своими, и оба затихли.

– Замуж хочу, – прошептала Вика. – За тебя.

Мобильник снова высверливал мозги.

– Неужели из театра? – поморщился он. – Не хочу. Я умер.

– Ты не ответил на вопрос, – сказала она.

– Я тебя услышал, дорогая, – сказал он. – Давай пить чай.

– Чай? – переспросила она и в ее вопросе был совсем другой, не чайный смысл. Он не ответил, и она вернулась к чаю. – Ладно, будем пить чай, – сказала она. – Я сейчас.

Встала и исчезла в ванной.

Саустин, наконец, ответил надоевшему мобильнику.

– Привет, – сказал он в трубку и выслушал просьбу собеседника. – Не вопрос, – ответил он. – Давай через полчаса, Юрок, раньше не надо.

4

Олег Саустин был премьером театра и любимым артистом худрука. Армен гордился им не только как хорошим артистом, но еще и тем, что создал его почти с нуля. Пять лет назад Саустин приехал в Москву из забытой провинции и явился на просмотр к худруку зеленым неумехой. Он показывался отрывком из Гамлета и был так плох, что ожидавшие своей очереди на показ другие конкурсанты, сидевшие в партере, не могли сдержать улыбок и от стыда за коллегу прятали за рядами кресел головы и лица. Он был высок и, пожалуй, хорош собой, но на сцене отличался одеревенелой зажатостью и полным непониманием того, что делает – надо было обладать проницательностью худрука, чтобы разглядеть в этой деревянной оглобле способного артиста. Худрук принял оглоблю в театр, первое время сильно об этом жалел, но надежды не терял. Он упорно тратил себя, занимался с Саустиным лично, и однажды, во время спектакля Гроза по Островскому, произошло чудо: исчезла оглобля, исполнявшая роль Кудряша, и родился артист. С тех пор оперившийся под рукой и глазом худрука Саустин переиграл весь мужской репертуар театра; по старинной театральной классификации он был героем-любовником, в нынешнем же театре, где амплу смазаны, сбиты или не существуют вовсе он просто, по велению худрука, играл все лучшие роли и во всех был хорош. Год назад ему дали премию «Маска» как лучшему молодому артисту, его наперебой приглашали в сериалы, а поклонницы неизменно поджидали его у артистического выхода с глупостями типа любовь.

А все же настал день, когда успеха на сцене стало для бывшей оглобли мало.

Это открытие Саустин сделал случайно, во время спектакля, когда вдруг почувствовал, что ему скучно. Его более не вдохновляли ни новые роли, ни партнеры, ни, тем более, исполнение чужой режиссерской воли – в рамках актерской профессии ему стало душно. Командовать ему вдруг захотелось, сидеть в зале за режиссерским столиком, орать на марионеток-актериков на сцене, вкладывать им в уста, в движения и в задачи свое видение спектакля – ему захотелось стать главным и ответственным за театральный процесс – захотелось сделаться режиссером. Как только понял он про себя такое, мир и земля закрутились для него в другую сторону, сил прибавилось безмерно, и во всем появился смысл. С новой великой своей идеей он кинулся к отцу родному, к Армену Борисовичу, но встречен был прохладно. «Вот я, – сказал худрук, – я большой артист, но в режиссуру не особо рвусь. Честно тебе скажу, может получиться так, что ты не станешь режиссером, а артиста в себе затопчешь – такие случаи знаю. Впрочем, препоны не чиню, пробуй, поставь что-нибудь, покажи, докажи...»

Вместе с Осинovým – они и задружились тогда – решили мастера поразить. Решили поставить и показать отрывок из сложнейшей повести англичанина Ивлиана Во «Незабвенная», ироничную историю про то, как в процессе работы морга происходит любовь между сотрудниками. Бальзамировщик, испытывающий сердечные чувства к коллеге гримерше, изо дня в день посылает ей на конвейере не цветы, а очередной мужской труп, на губах которого он искусно изображает нежные улыбки. Тонкая душа гримерши тронута, бальзамировщику, а не грубому шоферу, развозящему гробы, отдает она свое сердце. Бальзамировщика играл сам Саустин...

Показ состоялся утром, вместо обычной в это время очередной репетиции. Зал был почти пуст, если не считать нескольких любопытствующих артистов, звукооператора в окошке радиорубки над зрительным залом и осветителя на лесах.

По команде Саустина действие началось темпераментно, мощно, кое-кто в зале поначалу смеялся; потом все притихли, пораженные темой и текстом.

Кончился показ, и в зале повисла смертная тоска.

Цели своей Саустин достиг. Мастер действительно был поражен, даже заохал и закрыл глаза. Тишина установилась и в зале, и на сцене такая, что Саустин и Осинöv недоуменно переглянулись, понять не могли, что бы это значило. Все смотрели на худрука, он, как всегда, дер-

жал паузу да так долго, что Катька Мухина, сыгравшая в отрывке гримершу, нервно хихикнула и подавилась смешком.

Наконец, мастер открыл глаза.

– Да, – сказал он, – да-а...

Что такое его «да» было неясно. Саустина трясло.

– Как, говоришь, – продолжил, обращаясь к Саустину, худрук, – Ивлин Во называет нас, еще живых?

– Ждущие своего часа, – ответил Саустин, смутно догадываясь, что ему ждать своего часа осталось недолго.

– Ждущие своего часа. Замечательно, – усмехнулся худрук и снова закрыл глаза. – Иосич! – вдруг встрепенулся и перескочил Армен Борисович на завлита, – ты мне книгу эту принеси, я внимательно почитаю, по-моему, книга интересная... А по поводу вашего отрывка скажу честно: актеры сделали все, что могли, режиссера не подвели. Но режиссуры в этом отрывке я лично никакой не увидел. Что мы играем? Я не понял. Говнище какое-то, каша бесформенная. Нет ее, режиссуры, нет и конец! Иллюстрация текста, артисты, извините, играют ротом, то есть ртом, текстом, за которым ничего нет. И это режиссура? Извините меня, сильно извините. У кого-то есть другое мнение?

Ждущие своего часа зрители, понятно, смолчали. Не потому, что мнение было единодушным, а потому, что все знали: лучше худрука никто театр не понимает, злить его и спорить с ним бесполезно, можно нарваться на «выйди отсюда вон» или, еще лучше, на «в этом театре вы больше не работаете».

Саустин продолжил жизнь артиста, но без прежнего энтузиазма. Мысль о режиссуре не оставляла его. Он приготовил и показал худруку еще один отрывок из «Царя Федора Иоановича» и снова Армен Борисович его затоптал. «Во-первых, я не увидел новой энергетики. Во-вторых, нет перпендикулярной режиссуры, чтобы действие шло, скажем, против текста или наоборот», – приговорил он к неприятию отрывок и заодно режиссуру Саустина.

Что такое первое и что такое второе лучшие умы театра понимали не очень четко. Спросить деда было боязно и означало себя подставить, актерские же фантазии были разнообразны, но вызывали некоторые споры. Комик Шевченко, слабый на рюмку, предположил, что все очень просто и что новая энергетика означает все делать на сцене быстрее: быстрее говорить и быстрее двигаться. Он, исполнявший Хлестакова в Ревизоре, попробовал применить такой подход, но в результате худрук получил замечание от учителей, приведших на спектакль по классике учеников старшеклассников. «Все это, конечно, очень интересно, но, извините, Армен Борисович, ничего понять было невозможно. Вместо великого текста Гоголя – какие-то скороговорки, странные прыжки Хлестакова по сцене и полное безобразие», – заявили они. Худрук вызвал Шевченко в кабинет и провел с ним персональную беседу, после которой комик несколько дней не пил. На вопрос товарищей о сути новой энергетики он заявил, что все понял, но не стал вдаваться в детали, сказал лишь, что новая энергетика понятие очень индивидуальное. Вопросы о перпендикулярной режиссуре Шевченко тоже удалось избежать, он сказал, что учит новый текст, заперся в грим-уборной и не выходил оттуда, пока все не разошлись на чай, кофе, ужин, ночь.

5

Полчаса истаяли мгновенно. Едва они покинули душ и что-то на себя нацепили, как затренькал в прихожей звонок.

Осинов пришел не пустым, принес пакет с четырьмя бутылками пива. Щедр завлит, щедр, отметил про себя Саустин, пакет принял и промолчал.

– Здорово, Юрок, – сказал он. – Проходи. Чего так рано – случилось что?

– Случилось, – сказал завлит.

– Что?

Завлит вместо ответа уперся взглядом в возникшую за спиной Саустина Вика.

– Вика, она, конечно, актриса и женщина. Но она своя актриса и своя женщина, – сказал Саустин. – Мы репетировали любовь.

– Репетировали? – удивилась Вика – Ну-ну.

– Что случилось, Юр? – спросил Саустин.

Завлит тоже умел держать паузу. Посмотрел на всех отрешенно, прошел к столу, сел, задобрив по полу каблуком ботинка.

Он знал эту квартиру, он, можно сказать, прописал в ней счастье. Два года назад худрук выбил ее в мэрии для любимца Саустина. Осинов вместе с Олегом выбирал обои, занавески, менял полы и сантехнику; раньше вместе с Олегом в ней жила его прежняя любовь – Алена, теперь нынешняя любовь – Вика, и это было нормально, так принято в мире театра и никого не удивляло – театр – вертеп, но вот то несправедливое, что произошло с ним!.. Впрочем, в театре нормально и это, театр искусство крепостное, барское, и барское самодурство худруков никто отменить не в силах. Крепостничество, отмененное сто пятьдесят лет назад, прекрасно поживает в театрах, подумал Осинов. Барин и палка, вспомнил Осинов любимое изречение Армена о театре. Барин, палка, боль, дрессировка, результат. Главное – результат, который, как ни странно, часто бывает хорош...

Саустин дал знак; Вика исчезла, чтоб явиться через три минуты со стаканами, подсохшим сыром на блюде и открывашкой. Пиво зашипело и брызнуло в стекло, напомнив завлиту любимые звуки пивбара.

– Может, чего покрепче, Юр?

– Не сейчас.

Чокнулись, глотнули пенного, зажевали сыром. Более молчать было нельзя. Взгляды вопрошали и требовали ответа.

– Мне срочно нужна хорошая пьеса, – сказал Осинов.

Саустин шумно, по-йоговски выдохнул.

– И все? Напугал, черт! – заключил он. – Кому она не нужна? Всем нужна.

– Ты не понял, – сказал Осинов и пересказал приятелю разговор с худруком. – Растоптать меня хочет, измельчить, превратить в замазку.

– Блин, – Саустин заново наполнил стаканы. – Опять у деда приступ. Зачесалось.

– Где? – спросила Вика.

– Там, – ответил Саустин, и больше женских вопросов не возникло.

– Дай, что ли, что-нибудь поинтересней... – разволнованный завлит обратился к Вике. – Будем думать.

Вика упорхнула на кухню.

Завлит обернулся к Саустину.

– То, что спектаклей достойных нет – я виноват, то, что режиссеров нет, что зал пустой – тоже я! Во всем говне виноват я. Это я-то? – возмущался Осинов, – который столько лет на него и на театр горбатился как раб, который чуть ли ни землю вокруг перепаживал, чтобы лучшие

пьесы для него находить – и русские, и переводные! Из интернета и библиотек не вылезал – и находил, находил! Никто их поставить толком не мог, но это ведь проблемы уже не мои!

– Не твои – согласен. А он никого к режиссуре не подпускает, – вставил Саустин. – Всех достойных режиссеров разогнал, конкурентов не терпит. Остался один верный пес Генка Слепиков. Не спорю, он человек профессиональный, все терпит и делает, но нового слова сказать уже не может и «Незабвенную» ему не поставить. Шлепает спектакли как под копирку и получается, как десятая копия: бледно, сыро, серо... А мне – вот он даст постановку!... – и звезда выставила напоказ наглый, как член, кукиш.

Завидует, быстро подумал завлит. Завидует Слепикову. Завидует другим режиссерам. Браво! Я не глуп, быстро подумал завлит. Ах, как я не глуп...

– Что касается меня, то я Армену не завидую, – вслух озвучил Осинев. – У меня с ним – все. Отрезано, закопано, забито.

– Свежо преданье. Ты столько лет его защищал.

– От любви. До ненависти...

– А помнишь, как ты со мной спорил?

– Лишний раз убедился: добро наказуемо. За добро только что полной мерой наложили. До сих пор изо рта воняет. Теперь – все. Теперь думаю: либо уйти из театра, либо...

– Либо что? Ну, ну, смелее, – почувствовал важность момента, Саустин. – Смелее. Звучи дальше.

– Я не шучу, Олег.

– Вижу.

– Я тоже вижу, – мило улыбнулась Вика.

Она принесла водки и тарелку редиски. Разговор прервался на чоканье, питье, условную закуску. Водка толкнула, ускорила кровь. Второй рюмкой мужчины догнали первую. И снова налили. Осинев пил жадно, с размаха забрасывал водку в рот, Саустин пил спокойно, Вика приглатывала.

Но водка, по обыкновению, не расслабила, завлит помрачнел еще больше. Руки его сжимались в кулаки словно готовились к схватке. Осинев не был сильным и смелым, скорее наоборот, но разъяренный, поддатый и несмелый психопат вдвойне опаснее самого смелого.

– Вика, по-моему, у тебя на кухне гора немытой посуды, – сказал Саустин.

– Все вымыла, – не поняла намек Вика.

– У тебя чайник кипит, – сказал Саустин.

– Еще не ставила, – отозвалась Вика.

– Вика! – Саустин так сыграл гнев, что до артистки дошло, ее сдуло... – Старик, ты не озвучил, – снова обратился Саустин к завлиту.

– Ты уже и так все понял, – сказал Осинев.

Саустин облегченно выдохнул, разгладил лицо и пожал протянутую ему руку.

– Наконец-то, – сказал он. – Созрел. Я тебе давно говорил и, сам понимаешь, я – с тобой. Раскорячился дедушка наш, всю дорогу перекрыл. Гнать его надо! Причем учти... – артист взял паузу, после которой его прорвало. – Речь идет не только о том, чтобы изгнать худрука – это мы сделаем, не вопрос – а вот что будет после изгнания? – Он приблизил голову к завлиту, зашептал громким шепотом, как трагик, и у завлита высыпали мурашки страха... – Я веду речь о госперевороте, о практическом захвате театра. Дело романтическое, высокое, заводное – героическое!

Грандиозность замысла приподнимала над землей. Блин, изумился завлит, опять Шекспир!

– Захват – в каком смысле? – испуганно спросил он.

– Не можем мы ждать пока минкультуры назначит нам нового худрука. Мы должны сами решить этот вопрос...

Завлит более не задавал пустых вопросов, его нетерпение сквозило в глазах, в нетерпеливом покачивании головы, в пальцах, крутивших пустую рюмку...

– ...Очень просто, – продолжал Саустин. – После переворота образуем худсовет.

– Хунту?!

– Художественную хунту. Я стану главным режиссером, Вика – главной звездой...

– А я? – не стерпел завлит.

– С тобой тоже все просто. Ты станешь худруком.

Худруком? Я? Идея была столь неожиданна, что поначалу не вошла в завлитовскую голову. Следовало выпить и осмыслить.

Выпили и осмыслили.

Осинов осмыслил быстро и сразу, и с благодарностью решил, что Саустин первый, кто по достоинству и справедливо оценивает его профессиональные качества. Наконец-то, хоть кто-то, хоть когда-то, и абсолютно он прав. А раз так, то хунта так хунта! И действовать надо по Шекспиру, читай и действуй, у него уже все написано.

Он сказал «спасибо», пожал протянутую руку и быстро подумал о том, что по иронии и подлости судьбы в этой выбитой у чиновников и подаренной худруком артисту Саустину квартире рождается заговор против самого благородного дарителя. Сложна жизнь, успел подумать завлит, сложна, непредсказуема, прекрасна и шекспирообразна. Подлость обратная сторона благородства и хороших дел, подумал завлит и не забыл подумать о том, что сам в этой подлости участвует. Иногда случается, в оправдание себе подумал он, снова призвав на помощь Шекспира и мировой репертуар. Подлость Гамлета, умертвившего Розенкранца была задумана для того, чтобы в пьесу, то есть в жизнь, снова вернулось благородство...

– Спасибо, – еще раз вслух подтвердил завлит и передохнул, чтоб справиться с одышкой. – Но как, как с ним бороться – вот мне что скажи? С чего начинать? Не могу же я завтра явиться в театр и сказать ему, что пьесы не нашел? Растопчет.

– Растопчет...

– А как?

– Не знаю.

Саустин задумался, встал и распахнул форточку – снежинки зарулили в квартиру и напомнили о зиме. Саустин шумно всосал холодный воздух, закрыл глаза и втянул живот. – Хатха-йога, – бросил он полусшепотом.

Саустин отрешился от мира, перенесся в Индию и превратился в гималайского йога. Ледяные Гималаи ступили в московскую комнату, их поднебесный смысл и высокий зов необозримого пространства. Шамбала. Снег. Холод. Вечная и чистая душа предтеча любого открытия.

Осинов впервые присутствовал на сеансе и потому с любопытством наблюдал. Он знал, что в последнее время артист увлекается древним учением и считает, что индусы помогают сосредотачиваться, работать над образом и рожать идеи. Действо началось, неподвижному Осинину было немного смешно, но он терпеливо ждал и смотрел на друга с верой, надеждой и любовью – а вдруг чудеса индийские соединятся с вечным русским поиском?

Саустин вдыхал и выдыхал, шевелились, разгоняя пыль, легкие занавески, время несло вперед, время обещало высокие откровения. Наконец, Саустин тесно выдохнул сквозь плотно сжатые губы и решительно вернулся к столу.

– Ну? – не терпелось завлиту.

– Просветление не произошло, – признал Саустин. – Придумалось только одно.

– Что?

– Нейтрализовать.

– В каком смысле?

Большой палец правой руки Саустин настроил острием вниз, в землю, что с древнеримских времен означало только одно. Осинов встрепенулся от ужаса и злого восторга.

– Ты чего? – зашептал он. – Seriously?

– Более чем.

– Ну, блин, у тебя и йоги! – удивился Осинов. – Прямо вот так, натурально?

– К сожалению, на это йоги неспособны. Символически. Морально. А, если серьезно, ничего я от них не словил.

– Как же так? – не понял Осинов.

– В российских проблемах йоги не пляшут.

– Слабосильные они, – расстроился завлит. – Не Шекспир.

Снова выпили. Пальцы царапнули пустую тарелку – редиска кончилась.

– А если все-таки серьезно, по-русски? – переспросил Осинов.

– Кроме коллективного письма министру ничего придумать не могу, – сказал Саустин.

– Свеженькая мысль, Олег.

– Ты просил: по-русски.

– Богато.

– Зато эффективно, Юрок.

– Согласен. А кто подпишет?

– Я, ты, другие... Ты литератор, ты письмо изобрази, а я ребятшек в театре подломаю.

Многие на него зуб имеют...

– Многие, но не все, Олег. А предателей много, обязательно донесут. Глуповато, Олег.

– Глупость замечательная, – сказала возникшая в комнате Вика чудесным образом, через подслушивание, оказавшаяся в теме. – Массового восстания все равно не будет, а отдельных подписавших дед с удовольствием уволит – или вы хотите доставить ему удовольствие?

«Она права», – быстро подумал завлит и вспомнил, что великий дед – прирожденный охотник, вспомнил его главный критерий при отборе новой пьесы. «Для меня главное, – всегда говорил Армен Борисович, – не идеи, идеалы, сюжет – но, чтобы в пьесе был след, запах, тропа, дикость и кровь, чтобы в пьесе, как на природе, свободно жили двуногие, то есть мы с вами». «Сцена – вольер зоопарка, – часто повторял он, – зрители – посетители, которым должно быть интересно за животными наблюдать». Вика сто раз права, еще раз подумал завлит: там, где след, запах, тропа, там, значит, близко дикость и кровь – он уволит и словит охотничье удовольствие первобытного человека. Да и носит он в жизни и в театре почти охотничий гардероб: никогда пальто, пиджаки и галстуки, но всегда куртки, свитера и тяжелые башмаки-следопыта. Поимка и травля обычных людей – ему в кайф, удовольствие и балдеж.

– А может, анонимку?... – осторожно предложил он. – Тоже ведь сильное отечественное средство.

– Анонимку министр читать не станет, – отрезал Саустин. – Прошли, к несчастью, те времена.

Пауза образовалась мерзкая, холодная, пустая, подводящая черту. Идеи не было, идти вперед было некуда. Завлит с хода махнул рюмку и мужественно сдался.

– Приехали, господа, – сказал он. – Вернулись в начало. Ничего не поделаешь, надо искать пьесу. Суперпьесу. Бомбу.

– Ты найдешь, а мы пока пообождем, да? – предположил Саустин. – Притаимся за кулисами, будем зубы точить. Переживать его успехи, шипеть и тихо ненавидеть.

– Высокая миссия, – фыркнула Вика.

– Успокойтесь, артисты. Успеха в любом случае не будет, – ядовито сказал завлит и удивился собственному яду. – Он любую хорошую пьесу загробит, как он делает всегда. Зависнет на репетиции, влезет по-барски в режиссуру и развалит любой спектакль. Помните, что было с русской классикой?

– Все равно, наша миссия высока, – сказала Вика. – Вы хотите его свалить? Но хорошая пьеса, эта ваша супербомба, еще как-то может вывезти спектакль к удаче. А вот если мы сыграем с ним тонкий детектив, если мы худрученка нашего заманим как охотника в западню и...

– Говори, милая, говори. Вещай!.. – Саустин спонсировал Вику мокрым поцелуем, который она незаметно промокнула обшлагом платья.

– Послушайте меня, мальчики. Надо дать ему плохую пьесу, отстой, а на премьеру пригласить министра, – уверенно сказала Вика. – Вот это будет ход. Хлопок в ладоши, хлопок под зад, и театр – без госфинансов! Кто виноват – худрук! Что с ним делать? Гнать! Так подумает министр! Ваше время кончилось, господин худрук!

– Умно! – возбудился эмоциональный артист. – Ах, как умно, задорно, весело! Пусть ставит говно. И проваливается с треском. И падает с трона! – Он снова спонсировал Вику поцелуем, которому для осушения снова понадобился рукав платья.

Но завлит остался недоволен предложением. Тонкий женский детектив, подумал он. Детский сад.

– Плохую пьесу он ставить не будет, господа, – сказал он. – Не забывайте, с кем мы имеем дело. Монстр он, ребятки, чистый театральный монстр. Талант, который так просто природой не дается, и одновременно – чудовище. Великий и ужасный. Народный мастодонт республики. И еще, по определению, победитель жизни – вспомните скольких министров он пересидел? Нет, не возьмет он плохую пьесу, отвечаю, не возьмет.

Вика загадочно улыбалась, качала умной головой.

– Прямолинейные мои мальчики, – сказала она. – Не годитесь вы для заговора, хитрости вам не хватает. В том-то и оригинальный секрет идеи, что плохая пьеса должна быть яркой, завлекательной по форме. Как звонкие бусики, как цветные тряпки – лоскутки, на которые западают простые наши городские туземцы, как пустой треск рок-концерта, как фейерверки над Москвой, как сама наша жизнь, в которой, вспомните Шекспира, «много шума, нет лишь смысла»!

– Он-то не простой туземец, – буркнул Осинев. – Сразу все просечет. А меня выгонит.

– А мы-то на что? – тихо возмутилась Вика. – Вот тут и должен сработать наш оригинальный заговор, все мы! Завлит по своей части, мы – по своей, актерской, а я еще и по своей, женской.

– Не понял? – напрягся Саустин. – Что ты имеешь в виду?

Вика изменила голос, манеру, пластику движений – с ходу превратилась в ласковую кошку, обольстительную женщину – она была хорошей актрисой.

– Жена у него зависла в Штатах, он одинок и симпатичен. Он нуждается в уходе – тарелку супа вовремя дать, пилюлю, градусник, да просто улыбнуться и при этом вернуть слова о пьесе – я знаю, что нужно делать. Я обложу его теплыми подушками внимания, укурю одеялом лести, согрею руками нежности...

– Не перегни палку, дорогая, – сказал премьер.

– А если перегну? Чуть-чуть, ради дела... – но тут Вика посерьезнела. – Уговорить его надо, убедить, очаровать. И подставить... Он поддается уговорам – вспомните, что было с русской классикой?

– Не будем о прошлых победах, – мрачно вставил Осинев.

– Уболтать его надо, – продолжила Вика, – что пьеса хороша, что идеально ложится на труп, что в ходе репетиций вы, Армен Борисович, как мастер, все сможете поправить, что пьеса, может, и не гениальна, зато она открывает тему и тропу, по которой потом побегут другие, и так далее, и так далее. Хороший режиссер телефонную книгу может поставить, а вы, Армен Борисович, режиссер выдающийся, мы в вас верим и так далее, так далее. Он начнет репетировать и...

– И-и-и?! – сладострастно подхватил Саустин. – Что?

Нежными ласковыми руками, лицом и безупречной фигурой она изобразила то, что означало в ее понимании его «и-и-и...»

– И палку я не перегну, я все это сделаю ради вас... – Вика очаровательно улыбнулась Саустину...

– Сдаюсь. Делай, – поднял верх руки мыслитель Саустин. – Перегибай. И пусть поможет тебе моя святая ненависть! Подчеркиваю – святая!

– Мы поможем, – поддакнул Осин.

Ему понравились викины рецепты. Ему понравилось, что она фактически возглавит их мужской, прямолинейный сговор. Женщина в головке заговора всегда хорошо, подумал он. Женщина – это наблюдательность, внимательность, аккуратность, интриганство и беспощадность. «Вспомните 18-й век в России!» – всегда внушал он собеседникам. Кто интриговал, воевал и побеждал, кто создал блестящую славу отечеству? Императрицы, женщины, дамы! Шерше ля фам, господа!

Снова возникла короткая пауза, но совсем по духу другая. Пауза энтузиазма и легкой веры. Саустин и скептик Осин, который, казалось, тоже проникся идеей, пользуясь моментом, по очереди целовали Вику отчего рукав ее платья заметно отсырел.

– Шампанского! – вскричал Саустин.

Хороший финал, оценил его призыв Осин. Хороший оптимистичный финал пьесы, которую мы прямо сейчас и пишем, и играем. Здесь и сейчас, здесь и сейчас – таков девиз театра и нашей затеи, и беспощадного нашего времени.

«Впрочем, стоп, завлит», – сказал он себе. Актеры в жизни всерьез доигрывают то, что не сыграли на сцене, актерам не свойственно думать о жутких последствиях, актеры играют, входят в роль и играют до смерти, но зачем в этой смертельной трагедии участвуешь ты? Зачем?

Ответа на вопрос не нашлось. Потом, успокоил себя завлит, потом что-нибудь придума-ется.

Шампанского в актерском доме не нашлось – осталась последняя бутылка пива, которую торжественно распили за успех.

«Не кашляй, дедуля, – великодушно подумал завлит. – Мы ступили на тропу войны, вернее, ты сам ее начал. Давно пора тебя подвинуть. Ты устарел, великий мастер, ты весь в прошлом». Подумал так и вдруг увидел совсем рядом ледяные глаза худрука и его пробил озноб, он почувствовал, что ничего у них не получится. Впрочем, в следующую секунду мнение его переменялось. Запас зла пока что был в нем сильнее здравомыслия.

6

Вика была права, когда считала худрука одиноким.

Несколько лет назад он купил в Штатах, в Техасе небольшой домик, летал туда каждым летом, в каникулы, на лечение хронических хворей и отдых. Штаты нравились худруку уровнем комфорта, медициной и сервисом, а даже тем, что сильно походили на Россию: народ – простотой, размахом и юмором, территории – пространством, климат – разнообразием и даже зимним снегом.

Однажды он вывез в Техас жену, которая влюбилась в город Даллас, не только потому что в этом городе было святое для нее место, где был памятно убит ее любимый президент Джон Кеннеди, но и потому, что в Далласе существовал прекрасный музей изобразительных искусств. Татьяна неплохо, еще со школы, знала английский, в России она получила искусствоведческое образование – сумасшедшая идея прорваться на работу в Далласский музей стала ее мечтой. Великий артист помочь ей не мог, энергичная супруга всего добилась сама и довольно скоро сумела стать музейным гидом. Дом был, легальный заработок тоже ее устраивал и, когда великому артисту надо было возвращаться в Москву к открытию очередного театрального сезона, Татьяна объявила, что собирается остаться на время в Далласе, чтобы закрепить свой статус. «Она права», – подумал великий артист, поцеловал жену, собрал чемодан и с тоскою в сердце улетел к истинному своему призванию, своему театру. Он снова вернулся в Штаты уже на Рождество и нашел Татьяну в прекрасном состоянии. Дом был ухожен и мил: повсюду красовались цветы, летали птицы и счастливо мяукал Армену его любимый сиамский кот Фил.

Супруги счастливо встретили Новый год, и Татьяна сказала, что из-за работы сможет вернуться в Россию не раньше лета. Великий артист подумал и решил, что она и сейчас права. Она проводила его до самолета, они поцеловались, сказали друг другу «до встречи», самолет взял курс на Москву, и артист понял, что жена никогда сама не вернется на родину.

Никто никого не собирался подводить или, не дай бог, подставлять, но у жизни свои законы, и зачастую она самовольно распоряжается жизнью людей.

Московская квартира быстро заросла пылью, грязью, артист нанял таджичку и проблему закрыл, но пустоту и холод семейных стен он закрыть не смог, и все дальнейшие события его жизни – спасибо Татьяне – произрастали с ним на горькой земле одиночества. И всенародная слава помочь ему не смогла.

Так заведено у великой славы.

Дни он проводил в театре среди поклонников и льстецов, там же в театральном буфете столовался, это было ему удобно. Вечерами возвращался в просторную свою квартиру, шел на холодную кухню, где давно не готовили любимую долму, и кипятил воду для чая. Заварным чайником с дулевскими петухами, подаренном на очередном юбилее, он не пользовался, паке-тированный чай, заваренный в стакане, был удобнее и быстрее давался. Со стаканом зеленого чая возвращался в гостиную, запускал телевизор и искал в нем футбол – какой угодно, лишь бы футбол. Худрук считал себя профессионалом и знатоком футбола. Футбол завораживал, согревал, отвлекал от мыслей о далекой, бросившей его жене, о репетициях скучной голландской пьесы «Башня» и переносил вдаль, в любимую Армению, на солнце и тепло, на зеленое поле команды Арарат, где черноголовый Арменчик когда-то тренировался в детской команде при мастерах. И сразу вспоминалась любимая мама, которая всегда сидела на трибуне и, когда сына обижали, требовала, чтобы он давал сдачи. «Если кто-то на тебя пукнет, говорила она, отойди на полметра и перед обидчиком покачай». Так, следуя мудрым наставлениям мамы, Армен всегда и делал, и в результате стал человеком и артистом, способным на большое в искусстве. Проклятый театр, думал иногда худрук, если б не он, играл бы я в свое время, может

быть, в самой «Баварии» – чем я хуже нашего армянского Мхитаряна? Он проклинал иногда театр, но только потому, что театр сильно любил, и проклинал его за это неистово и грозно, пропорционально силе своего огромного таланта. Свой же театр он охранял как крепость, как собственную душу, его безопасность от внешних и, главное, внутренних врагов была делом всей его оставшейся жизни.

Осинов был прав, когда считал худрука прирожденным охотником. Запах, след, тропа – слагаемые инстинкта безошибочно вели его по жизни. Если к этому добавить небывалое чувство предвидения и предчувствия, то станет понятно на какого матерого зверя затеяли охоту недалекие артисты плюс завлит.

Худрук всегда знал, чувствовал откуда и когда грянет выстрел и до сей поры умело обходил опасности. Будь то министерство, злобные блогеры, обделенные артисты, недовольные зрители или даже врачи – кстати, к последним он относился с особой трогательной нежностью. «Пей таблетки, не пей, – смеялся он в голос над их глубокомысленными рецептами, – а под нож все равно пойдешь!» – имелся в виду, понятно, нож патологоанатома. Хотя, по правде сказать, опасность ему никогда всерьез не угрожала, его всегда баюкало и баловало народное обожание – что могло бы отменить в нем природный механизм предчувствия и бдительности – но не отменяло. Армен Борисович глубоко знал российскую жизнь, знал ее неожиданные прыжки и кульбиты и всегда был на чеку.

Когда в театре, скрытными стараниями Осина, Саустина и Вики едва-едва потянуло далеким дымком смуты, худрук насторожился и, как любой диктатор в истории, первым делом привел в действие свою агентуру. Выявить зачинщиков и провести профилактику, так решил худрук. Профилактика означала традиционно российскую, партийную чистку, то есть, немедленное увольнение из театра. Прополоть и проредить! Дурную траву с поля вон! Так по-государственному размашисто и вполне по-русски действовал художественный руководитель. Это было первое срочное средство, и он это сделал. Трех артистов и четверых рабочих сцены уволил якобы за опоздания, но цель была другая.

Второй главный рецепт борьбы за власть в театре состоял в уничтожении единодушия в народе, то есть среди артистов: единодушие в народе, то есть среди артистов, приводило к бунту и жалобам наверх, что тоже было недопустимо.

Верь глазам, считал худрук. Не рукам и даже не поступкам – они тоже обманут, верь глазам! Всмотрись в них, прочувствуй, как чувствует зверь, прочитай в них то, что заложено в человеке от рождения – не ошибешься! Так искренне и сильно научно подходил к проблеме худрук и, к сожалению, часто ошибался.

В театре, как в любом государстве, хватает жалобщиков и недовольных, всегда есть те, кто доносит начальству «окопную» правду из грим-уборных, из-за кулис и из отдельных цехов. Доносчики и агентура – мой золотой фонд, справедливо, как каждый диктатор, считал худрук. Однако бдительность в этот раз мало помогла вождю, ни Саустина, ни Вики в списке подозреваемых не оказалось, оба были слишком осторожны, чтобы сразу попасть на глаза осведомителям, и настоящая заноза осталась до поры под театральной кожей.

Список же подозреваемых, которых предполагалось прополоть, оказался разноперым, их склоки и жалобы больше походили на сведения личных счетов и кляузы, чем на организованную компанию против худрука. Он понял это быстро, но все же зубы, для острастки остальных, надо было показать.

– Здравствуй, золотце, – говорил он очередной жалобщице. – Скажи, что тебе в театре не нравится?

– Зарплата маленькая, – надувало губки золотце. – А еще Зойка Завьялова ужас как матерится... и прямо перед выходом на сцену, когда я в образ нежной матери вхожу...

– Понял, – кивал худрук, отпускал жалобщицу и ставил галочку против ее фамилии. «Реваншистами» называл он таких, которые, якобы боролись за правду, на деле – за собственные недополученные права, которые хотелось получить даже ценой наветов и сплетен.

Кнутом и пряником – на словах! – боролся вождь с недовольными и реваншистами, на деле же выходило, что всегда по – барски, то есть, кнутом и не всегда справедливо. Армен Борисович для примера громко уволил трех слабых артистов, еще троих снял с ролей в новой постановке, а абсолютно невиновному, талантливому специалисту по новой энергетике и слабому на рюмку Шевченко объявил выговор с удержанием жалованья. «За что?» – появился в его кабинете обиженный, с воспаленными глазами Шевченко, которому и так не хватало зарплаты для обслуживания своей классической слабости. «Чая много пьешь. Извини за слово чай», – таков был творческий ответ художественного руководителя.

До Осина худрук не добрался: на всякого мудреца довольно простоты. Осинев срочно искал пьесу и был вне подозрений – так считал худрук и промахивался будто начинающий охотник. Именно завлит пустил по театру слухок, что Армен Борисович не угодил министру и что его скоро собираются заменить. Слушок побродил по коридорам и породил сплетни. Клевета поползла по театру как вездесущий табачный дым – Осинев хорошо знал Шекспира и приемы мировой драматургии.

А худрук, проводя профилактику, великодушно ограничился малой кровью, бдительности он не терял, но на время успокоился. Малая кровь всегда лучше большой, считал большой артист, хотя, чем она принципиально лучше, сказать трудно.

Он ограничился малой кровью, он забыл или не знал, что в мировой драматургии, как, зачастую, и в политике, большие проблемы решаются только большой кровью.

7

Делать нечего: Осинов искал пьесу.

И в поисках своих постоянно спорил с Викой.

Легко впустую сотрясти воздух, что плохая пьеса должна быть яркой и привлекательной по форме как цветные лоскутки, фантики, бусики или что там еще? Ты попробуй ее найди такую плохую яркую пьесу, от которой невозможно отвязаться даже ночами!

Он не очень рассчитывал на успех, когда обзванивал и встречался с завлитами других театров. Никто не отдаст тебе хорошую пьесу, понимал он, но, может быть, спихнут, то есть, по-товарищески поделится плохой? Но ни хорошей, ни плохой пьесой другие театры делится с ним не собирались, это считалось дурной приметой. «Поцелуй их всех в темя, – наконец, сказал себе Осинов, – и ищи сам». Но где, как?

Беспошадное наше время.

Интернет смердил как неприбранное кладбище. Самиздат был засорен сотнями не имеющих отношения к профессии и жанру поделками, выбрать яркую плохую пьесу было невозможно: плохие пьесы оказывались просто серыми и похожими друг на друга, потому что не имели ни лица, ни гендерных признаков формы. Он читал пьесу за пьесой и каждый раз с повышенной нежностью: «Вау, вашу мать!» поминал Вику. Пользуясь положением, необходимостью и случаем, он пролез в жюри престижного конкурса пьес «Действующие лица», рассчитывая хотя бы там, среди неудачников конкурса отыскать пустое, но яркое. Первое он нашел в изобилии, второго не нашел вовсе и вспомнил заветы великих, что яркая форма как правило соответствует богатому содержанию. Все было кончено. Плаха приближалась, искрил лезвием топор, спасения не было.

Сталкиваясь с худруком, принимал бодрый вид, надувал, подмигивая шефу, кожу лица и успокаивал, что дело катится. А на встречах заговорщиков пил горькую и признавался, что близок к отчаянию. И Савостин, и Вика хорошо его понимали, они тоже всюду искали пьесу и тоже вместе с ним пили тот же спасительный напиток.

А шеф нажимал. Затаскивал в кабинет, тыкал в Осинова деревянный палец, напоминал, что времени у него в обрез и трескуче смеялся. «На панель пойдешь, завлит! В школу, в детский сад! Стихи классиков преподавать будешь!» Осинов не спорил, улыбался через силу тонким шуткам худрука и только с облегчением соображал про себя, что с таким похабным животом как у него он вряд ли кому-то понадобится на панели, в садике – сподручней.

8

С тяжелой душой собирался Осинов на последнюю встречу к Саустину. Болела душа, ноги шли плохо, ноги всегда знают к кому и зачем они направляются – ноги точно не любят последних грустных встреч. Он вышел из квартиры, с печальным смыслом, как в прошлое, захлопнул дверь, обернулся к широкому лестничному окну, к старинному, многожды крашеному, советскому еще подоконнику, на котором тайком любила покуривать усатая соседская няня соседей, и увидел на нем, рядом с консервной банкой, заменявшей пепельницу, зеленого цвета сидюшку. «Чудо!» – толкнуло его. Пьеса?

И вспомнил из Шекспира, что чудо, как и зло, подстерегает нас на каждом повороте. И неправда, что чудес случается меньше, чем злодеяний – гармония и устойчивость мира заключена в их абсолютном равновесии. Все эти дни он ждал чуда, и оно явилось.

Он едва тронул зеленый CD, как тотчас дернуло его током и все высокое в нем подсказало, что это то, что надо и, значит, это чудо. «А иначе – чье это, откуда? Кто забыл? Как прилетело? Кто подложил? И почему именно на мое окно?» – спрашивал себя Осинов и, взмокнув лысиной, наконец, сообразил, что вопросы к чуду совершенно неуместны. Оно есть чудо, и явилось оно, как чудо, как чудесная икона, то есть, само по себе. Свят, свят, свят. Осинов был человеком почти неверующим, но сейчас глаза его сверкнули верой, и он прошептал: «А может, и правда, что оттуда!»

Но тотчас все низкое в нем тоже взыграло и утихомирило его воспарения. «Не радуйся, Осинов, – сказала оно ему. – Тебе подложили фуфель, рекламу или, в лучшем случае, порнуху».

«Да, – признал завит, – вполне могло быть и такое. Хорошо бы, чтоб порнуху, только, чтоб не компромат на самого себя».

Он осторожно поднес сидюшку к глазам.

Он даже фамилию автора не запомнил. Прочел на пластмассе странное какое-то название «Фугас», а ниже «пьеса», и руки его задрожали. Он сунул сидюшку за пазуху, ближе к сердцу, вороватым бочком скользнул обратно к своей квартире и через минуту оказался в прихожей. С превеликой аккуратностью, боясь спугнуть чудо, выложил священную находку на заваленную шарфами и перчатками тумбочку, скинул с себя куртку, шапку, башмаки и, не заметив жены, юркнул в крохотный свой кабинет и припал к компьютеру.

Какой-то «Козлов», прочитал и принял в сознание фамилию автора Осинов. «Фугас», пьеса. Кто это, что это, откуда? И снова, взмокнув лысиной, вспомнил Осинов, что когда-то дневники белого офицера Крюкова послужили Шолохову основой великого «Тихого дона». «Господи, – в запале испугался Осинов, – а не случится ли такое же с Козловым? Или может здорово, что случится?»

Козлов оказался не Крюковым. Осинов понял это на третьей минуте чтения, когда с трудом стал продираться через заросли сухого языка, невразумительные мотивировки героев и драматургические поддавки. Пьеса была хилой, еле-еле стояла на кривеньких, рахитичных ножках, чтоб ее понять необходимы были комментарии. Но тема, тема, господа! Молодой человек каким-то образом приволок из горячей точки в Москву смертоносный фугас. Люди огромного города рождались, любили, жили и умирали, не подозревая, что рядом с ними в квартире тикает фугас, который рано или поздно должен был взорваться – что он, в конце концов, в пьесе и делал! Тема обжигала, из нее вполне можно было создать нечто смелое и нерядовое, и при том – какой замах, какая смелость, да не было такого на театре никогда! Фугас как символ, как смысл, как путеводная звезда нашего времени, как наш любимый террор, который оправдывает все ошибки нашего времени! Осинов понял, такую пьесу не грех предложить худруку. «Вы просили бомбу, господин худрук, так вот вам, Армен Борисович, от меня „Фугас“! Примите

и прочее!» – млея от удовольствия триумфа, рассуждал Осинов. Попробуйте теперь выгнать меня из театра или упрекнуть в незнании классических ваших стишков малоизвестного происхождения!

«Впрочем, стоп, – остановил себя завлит, – опять ты торопишься отравиться собственной фантазией». Пусть сперва прочтут артисты, пусть скажут свое лицедейское слово.

9

Вечером пили у Саустина, обсуждали находку.

В нескольких словах Осинов пересказал содержание произведения, и артисты впали в веселый шок.

– Чему вы радуетесь? – смеялся вместе с ними Осинов, прекрасно, однако, понимая, чему радуются артисты.

– Кошмар, вампука, полный отстой – то, что нужно! – со смехом констатировал Саустин. – Претендует на комедию?

– Это как поставить, – уточнял Осинов. – У автора Козлова ничего о жанре не сказано. Но я думаю, на комедию дед быстрее западет.

– Комедия! Комедия! Убойная комедия! – был уверен Саустин. – На ней спектакль легче завалить и обделать театр.

– Надо кривляться и нарочито смешить, чтобы стало совсем не смешно, – сказала Вика. – Чтобы люди в зале стали топтать ногами, свистеть и отваливать в буфет.

– Перпендикулярная режиссура! Гениально! – согласился Саустин, он снова попытался наградить Вику поцелуем, она ловко подставила ему руку.

– А мне роль есть? – спросила она Осинова.

– Твоя роль – главная! Ты подруга героя. Блондинка. Полная идиотка. Прикинь, какие у тебя возможности для кривляния и мерзости!

– А мне? – не терпелось Саустину.

– Ты привез фугас. Ты предатель и дезертир. Прикинь, как тебя полюбит зритель!

– Круто! – сказала Вика. – Кто такой этот Козлов?

– Понятия не имею, – отвечал завлит. – Ничего. Начнем репетиции, развоним по интернету, в прессе – я уверен, объявится... Слава ему, слава, кажется, на этот раз я выскочу из-под деда.

– Слава богу, – Вика перекрестилась и сплюнула...

– Слава театру! – дополнил Саустин. – И его замечательным творцам! То есть, нам!

Он двинул свой стакан в воображаемый центр над столом, и его поддержали с трех сторон. Чоканье получилось звучным. Питье дружным.

Осинов оставил им сидюшку, чтобы немедленно прочли, и Вика, не медля, поспешила к компу.

– А когда вручать будем шефу?

– Как прочтете и одобрите.

– А кто будет вручать?

– Вопрос излишний, – сказал Саустин.

Две спины, две склоненных друг к другу головы одного единого существа образовались у дисплея компьютера. Осинов вышел из комнаты с надеждой и сознательно обнаружил себя уже за дверью. «Я покажу вам, господин народный артист, какой я плохой завлит. – Повторял он. – Я вам такую пьесу нашел... Читайте, господин народный артист, читайте, удивляйтесь, радуйтесь пока можете радоваться...»

Шел по лестнице, повторял последнюю фразу на разные лады. Похоже было на присказку, на камлание, приближающее столь необходимый триумф.

10

Через два часа ему позвонили.

Звезды были в восторге. Наконец-то они нашли блестящее говно, которое так долго искали. «Дед западет, – уверенно сказал Саустин. – Не западет сразу, мы поможем, чтоб запал. Подстава сработает, завалим мы его, ты, Юрок, только зачни».

Договорились, что пьесу переведут на бумагу, поскольку дед не любит читать с экрана, и завтра днем бомба в бумажном варианте будет вложена в руки Осина. Как символ справедливости, выразился Саустин. Как богатырский кладенец. Как оружие возмездия. О'кей, сказал Осин. О'кей.

Ему было приятно, что артисты оценили его бомбу, но чем глубже сгущалась тьма за московским окном, тем все более одолевали его сомнения и фантазии ночи. «У совести нет зубов, но она может загрызть до смерти», – совсем некстати, а может быть, кстати, вспомнилось ему чье-то неглупое изречение. «На что ты идешь, Юрий? – спрашивал он себя. – Морочить голову старому, больному, великому артисту, выставить его дураком? Не совестно ли тебе, завлит, которого не так давно, худрук называл лучшим завлитом Москвы и Московской области? Может, шутил, а может, принимая во внимание недавние успехи театра, и не шутил вовсе? И, кстати: выкинут из театра худрука и, вполне может статься, что выкинут вместе с ним и тебя – тебе не боязно, завлит? Боязно, – признавался завлит, очень боязно, а все же хочется рискнуть и пожить в театре свободном, без чуда и царя, который всегда есть несвобода и душающая атмосфера...»

Спал плохо.

А утром на удивление проснулся свежим и бодрым и выглянул в окно. Свежий снег хлопьями опускался за стеклом, белый и чистый, смывающий ночные сомнения и морок с души. «Будь мужчиной», – приказал себе Осин. Главное, чтоб все случилось днем, вечерами решимость в человеке тает и сдается сомнениям.

Олег и Вика вручили ему пьесу как оружие, сказали слова, пожали руки, обняли как героя, проводили в театр как на священную войну.

– На святое дело идешь: свергать крепостника и самодержца. Давай, бог, давай, – сказал Саустин. – Позвони как все пройдет. Читает он долго, но очень интересно, чем все кончится.

– Если он ее задробит, он велик, – сказала Вика. – Если примет ее к постановке, он велик вдвойне. В любом случае мы выступим на твоей стороне.

И так она это сказала, так озорно и живо блеснули ее глаза, что Осин быстро подумал о том, что война есть необходимое условие жизни женщины-артистки. Война за театр, за роль, за мужчину, за ребенка, за жизнь делает просто артистку прекрасной артисткой.

Он шел от метро знакомой дорогой и думал о том, с чего, с каких слов начать разговор с худруком.

А еще было важно какое при встрече сделать лицо. Не заискивающее, боже упаси, нет. Не подбострастное и подчиненное – тоже нет. Не убеждающее и напористое – тоже не годится. «Лицо должно быть постным, нейтральным, никаким – без навязывания легче протолкнуть идею, – сообразил Осин, – и пьесу следует ему сунуть без всякого пафоса и обещаний, а просто так, в легкую, если получится, с шуткой, еще лучше – между прочим, и уж совсем станет здорово, если я буду как бы чуточку против – дух противоречия и его кавказское упрямство обязательно должны сработать на мою победу...»

11

Ступил в театр, кивнул вахтеру с планшетом в руках, спросил: «У себя?»

Чуть тюкнул костяшкой руки в дверь и сразу вошел.

Худрук пил чай.

Восседал все на том же итальянском кресле-троне и был так безразличен к вошедшему, что весь осинольский энтузиазм мгновенно испарился и сменился обычным подобострастием.

– Приятного аппетита, – вырвались из завлита привычные слова, которые он не собирался произносить. – Здравствуйте, – добавил он и вытащил на первый план драгоценную папку. – Вот.

Худрук, едва глянув на папку, укусил дорогой бутерброд и запил его длинным глотком чая.

– Что это?

– Вы просили бомбу. Вот, Армен Борисович, пожалуйста, все для вас. И название соответствующее – «Фугас».

Худрук принял пьесу, пролистнул на желтом ногте ее страницы и вдруг сказал:

– Сядь.

И Осинов на автомате сел. И все пошло не так, как он себе придумал.

От дымящихся струй армянского чая Осинов отказаться не смог, любил он его больше водки, испытывал к нему слабость. Урц, по-армянски называл его Армен, но завлит-то знал, что это никакой не урц, а самый что ни на есть натуральный и душистый чабрец. Осинов припал с чашке с чабрецом, смаковал во рту ароматные капли и с некоторым сожалением предсказывал себе, что, когда уйдет худрук, уйдет и урц. «Жаль, – подумал завлит, – очень жаль, такого мочегонного в Москве не сыщешь, впрочем, – потаенно успокоил он себя, – за все надо платить – пусть я буду без чая, зато со свободным театром и итальянским тронem под пятой точкой, а уж трон-то я менять не буду – реликвия! Простоит годков пять и сдадим в музей – породнимся задницами на троне», – усмехнулся про себя Осинов и сам прервал свою недалекую шутку...

– В двух словах – о чем твой Фугас? – спросил худрук, и Осинов понял, что ему не терпится. «А раз так, – сказал себе по мстительной вредности завлит, – пусть подождет, помыкается, пусть на себе почувствует, как благотворно действует долгая пауза на собеседника», – и завлит с удовольствием позволил себе долгий, злобный глоток урца.

– Ну? – Повысив голос, переспросил Армен.

Завлит всегда боялся, когда худрук в разговоре с ним повышал голос, он понял, что как бы, не дай бог, ситуацию не перетончить, – чтоб не рвануло! – и что пора отвечать по сути.

Сбросив напруг, улыбнулся в не идеальные свои чужие зубы и сказал, что о пьесе говорить предварительно нельзя, ее надо читать. Его ответ, словно пару в парной, поддал худруку интриги.

– Как это так: нельзя? – худрук сдвинул на лбу куст бровей. – Хорошая пьеса рассказывается в трех предложениях.

– Прочтите, Армен Борисович, сами все поймете... – Завлит старался быть убедительным. – Как профессионал могу сказать: пьеса новаторская, заглядывает в завтрашний день театра, жизни вообще и, что самое интересное, будто специально написана для вас, поставить ее способны только вы с вашим мастерством, интуицией, опытом. Поставить с блеском, чтоб другим от зависти поплохело, чтоб публика у касс передушилась... Такая там, знаете, острая тема, что требует кропотливой реалистичной работы, а не фокусничанья, авангарда и демонстрации задниц. Вы, только вы владеете этим...

Худрук был бы плохим актером и никаким режиссером, если бы не обладал даром выщелачивания из собеседника души и скрытого смысла. Он внимательно слушал славословия Оси-

нова, ввинчивал в него глаза и чувствовал: что-то идет не так. Разгулялся Иосич, будто речь заученную говорит, не свои слова, не свои мысли, все будто с чьей-то подачи. «С чего бы, – соображал худрук, – моего несмелого и преданного завлита так по воздуху лести понесло? С чего бы, с какого перепуга? А не связан ли он с театральным дымком, каким все-таки тянет по театру? А не он ли этот дымок пускает?»

– Наговорил много, вагон, – сказал он, – Ладно, оставь, прочту... – Подгреб к себе поближе папку с пьесой, снова поднял глаза на завлита и снова увидел, что в них что-то не так. Кривизну в них увидел и испуг момента. Но, как умный хозяин, решил верного служаку огладить. – Вообще-то ты, Иосич, молодец. Честно скажу: сработал оперативно. Если еще и пьеса окажется не козыи шарики, награжу по-царски.

– Буду рад, – правильно отреагировал завлит. – Царские подарки люблю, они дорогие, – добавил он и мелко, и неприятно рассмеялся. Мелко, сказал он себе, да, мелко, знаю – зато метко, в самый раз, чтоб деда расположить...

Но худрук не расположился и виду не подал. Долго, увесисто, плотно глядел он на мучающего глотками урц завлита, и вдруг здравая мысль посетила его. «А не проверить ли мне завлита, – подумал он, – на предмет преданности лично мне».

Хватит ему только пьески почитать, пусть хоть половину театрального дела на себя возьмет, пусть за климат театральный отвечает, за здоровую атмосферу за кулисами! Проверить его надо на крепость: двинуть по темени и посмотреть, как он удар держит, не трещит ли по швам, не течет ли снизу? Двинуть его надо, ой, как надо двинуть!

– Ну, а вообще-то, – спросил Армен Борисович, – как атмосфера на театральной территории?

Завлит Осинев, хорошо знавший мировую драматургию, мгновенно проник в зерно вопроса, но принял вид простачка.

– Атмосфера здоровая, туч нет, осадки не ожидаются, – хохотнул Осинев.

– Уверен? – переспросил худрук. – Честно тебе скажу, не будем дурака включать.

Ловко извлек из пачки, вложил в губы сигаретину Мальборо. Он давно и настрого запретил курение в театре, исключение делал понятно для кого. В кабинете запахло Америкой.

Затянулся, глаз с завлита не спускал, морщился, побряхтывал, поскрипывал, нагонял страх, но Осиневу видеть такое у народного артиста было не впервой. Насмотрелся на репетициях, пообвык, знал все ходы и приемы большого мастера. Помнил Арменом же сказанные слова, что все, без исключения, артисты работают на штампах, но хорошего артиста отличает от плохого единственно одно: количество штампов; у плохого их мало, они легко читаются, механически повторяются, потому игра его кажется формальной, бездушной, никакой – у хорошего артиста штампов много больше, просчитать их труднее и зрителю кажется, что хороший артист никогда не играет, но принародно проживает на сцене предложенную роль, как кусок жизни, причем каждый раз заново, искренне и с душой: надо будет сделаться собакой – сделается собакой, надо будет стать убийцей, станет и первоклассно убьет, или, еще интересней, если надо, сделается влюбленным и так полюбит партнершу, что у дам в публике зачесется в горле и появятся платочки...

А сейчас, видел завлит, худрук подсел на штамп запугивания, надувается и явно перебирает, переживает, или, как говорят на театре, плюсует – но зачем? «Меня, Осинев, напугать? Вряд ли получится, не станцуется у вас, Армен Борисович, несмотря на весь ваш талант, думал, не пряча глаза, завлит, видел я такое и привык. И „дурака включать“ здесь совершенно ни при чем. Я свое дело сделал: пьесу просили – достал, а что там будет дальше, и кто кого запугает – лукавая жизнь очень скоро и очень неожиданно покажет...»

– Меня волнует, о чем болтают в грим-уборных наши звезды, чем они дышат, Иосич, – встык, без разгона озвучил худрук. – Ты и я, мы два капитана на этом судне, я главный, ты – мой

старпом, старший помощник... Ты включись старпом, помоги кораблю идти верным курсом, помоги капитану держать руку на компасе с ударением на «а». Короче, мне нужна информация.

– Я заведующий литературной части, – сказал Осин. – Согласитесь, Армен Борисович, немного другая профессия. Мое дело пьесы находить.

Худрук прикурил от прежней, запалил новую мальборину и наставил на старпома проникающие рентгеном, понимающие глаза.

– Профессия у нас с тобой одна – любить свой театр. Но вижу: кашка бздит, как говорят в горах. Боишься или не хочешь? Вопрос: почему боишься? Или: почему не хочешь? Отвечу честно: не сам ли ты участвуешь в пускании слухов по театру, что я министру не по вкусу?

Прыгнули губы, Осин невежливо и громко фыркнул. И опять его ткнула под дых тупая игла страха, и он быстро подумал о том, что сердце может не выдержать разоблачения. Однако, выдержало. Врать, врать, сладкое дело врать, сказал себе Осин. «Вранье – сродни искусству» – Шекспир!..

– Оправдываться, Армен Борисович, не буду. Роль, которую вы предлагаете, она, конечно, яркая, увлекательная, рискованная, захватить может на всю жизнь. Однако дополнительной нагрузки не потяну, нет, своей работы хватает выше черепа.

Худрук задавил мальборину в пепельнице. Америка отлетела за океан.

«Говорит гладко, аргументирует, – думал худрук, – но, видит бог, не верю. Мама учила верить жизни, а людям не верить, так я и живу, потому в порядке. Посмотрим, подумаем, понаблюдаем, но то, что он отказался, я запомню. Отказался мне помочь – плохо, значит, совесть передо мной не чиста...»

– Ладно, Иосич, иди пока, работай, – сказал худрук. – Я «Фугас» почитаю. Это интересней. Если не подорвусь, позвоню.

12

Что такое хорошо – понимают все понимают в театре примерно одинаково, что такое плохо – все понимают по-разному.

Худрук был прав: открывать новую пьесу чуть ли не самое интересное театральное занятие. Читаешь первые строки неизвестного автора и всегда ждешь откровения и восторга. Открытия бывают не часто, редко, но иногда бывают, неожиданная встреча с талантом всегда приводит в трепет, в желание действовать, играть и ставить – к сцене, к спектаклю, к зрителю, к успеху. К тому, что на время насыщается алчный червь честолюбия. Всеобщий космический червь.

Он прочел первые строки «Фугаса», они показались ему любопытными, потащили за собой. Он увлекся и потащился охотно.

Но самое любопытное произошло с ним через несколько быстрых минут.

В дверь постучали.

Он позволил войти, дверь скрипнула и на пороге заветного кабинета блистательной тенью возникла Вика.

– Здравствуйте, – сказала она. – Я к вам, Армен Борисович. Можно?

Ему давно нравилась эта девушка, он ее двигал, давал роли. Тонкая, стройная, искренняя на сцене, глаза-блюдца, исполненные правдой. И артистка неплохая.

Когда он впервые ее увидел, подумал о том, что формулу Достоевского о том, что красота спасет мир, он бы дополнил и уточнил: не всякая красота спасет мир, но именно эта – женское совершенство.

Когда он впервые ее увидел – ахнул вслух. Невероятно она была похожа на его любимую первую женщину, не на ту, что застряла в Штатах, а на первую и единственную любовь.

Гаяне...

Лицом была похожа, еще больше – улыбкой, манерой, движением; общаясь с Викторией, Армен как в счастье переносился в драгоценные, безумные ереванские годы, к горячей Гаяне, лелеявшей ночами у груди юного Армена как любимую куклу. Глупостью был его отъезд на учебу в Москву, непоправимой глупостью было хоть на день расстаться с Гаяне – все это он понял сразу же, как только оторвался самолет от земли, и понеслись под крылом плоские крыши Еревана и заняло поздно услышанное сердце – он вернулся в Ереван через месяц, но Гаяне уже не нашел...

– Откуда ты такая взялась? – спросил он Виду, удивившись тому, как похожа она на Гаяне.

– Всегда была, Армен Борисович. Всегда была в вашем театре. Вы меня не замечали.

С того дня заметил. Полюбил и продвигал.

– Заходи, Романюк. Привет, красивая. Что у тебя?

Вика произвела два заинтересованных шага, улыбнулась направленно на худрука.

– Я слышала... – сказала она и сделала еще полшажка к столу. – Я слышала, у вас появилась интересная пьеса. Армен Борисович, я бы очень, я бы очень хотела в ней играть...

– Откуда ты слышала? – насторожился худрук.

– Юрий Иосифович сообщил...

Ни своему Олежку утром, ни, понятно, заплуту она не рассказала о том, что собирается сделать. Знала, что пьеса уже у худрука, и мысль посетить самого пришла внезапно, по дороге в театр, времени на обсуждение не было, но было у нее актерское чувство, что идея правильная. «Бей по кольцу, Романюк, бей сама! Инициатива побеждает» – вспомнила она слова баскетбольного тренера Кошкина из недалекого небогатого своего детства и поняла, что вспомнила неслучайно. И вот она здесь, перед тем, кого нужно погубить, и она должна сыг-

рать роль. Соблазнить и уничтожить – так выстроила она эту роль. Роль библейской Юдифи, великая, трудная, вечная, и у женщин всегда наготове. Соблазнить и уничтожить, но сначала – соблазнить, что, по большому счету, означает покорение мужского в мужчине и, если надо, уничтожение мужчины вообще.

А он глядел на нее с удовольствием. Много было женщин у народного артиста. Он не верил в любовь, говорил, что знает женской любви истинную цену, но, когда видел перед собой красивое и доступное, всегда охотно подчинялся воле основного инстинкта.

– Хорошо, Романюк, – мягко сказал худрук и обласкал ее глазами. – Твое горячее желание играть примиряет меня с действительностью – ты будешь играть в «Фугасе», дай только дочитать.

Она чуть не подпрыгнула от радости. «Точно все сыграла, правильно, – звучали в артистке слова, – Олег будет доволен». Приблизившись к худруку, хотела в знак благодарности слегка поклониться – вдруг увидела женским глазом, что воротничок его рубашки посекеся и несвеж, а узел галстука по-стариковски съехал на бок. «Как у папы», – автоматом отметила Вика. Как у папы.

Комочек женской жалости нечаянно шевельнулся в ней.

С каким удовольствием, вдруг мелькнуло у Вики, я бы дотронулась до его воротничка, выстирала и отгладила бы его рубашку – даже пальцы, почувствовала Вика, чуть вздрогнули от такого ее желания. С детства любила она стирать, и гладить, утюг и гладка были ее любимыми занятиями. Но еще больше, редкий случай, Вика любила стариков.

Она выросла без рано умершей матери, с махонькой деревенской бабушкой – учительницей, привыкла к ее мятой седой голове, аромату застиранных платьев, к ее замедленности и негромкости, она играла с бабушкой, баюкала ее, спала с ней в ее кровати как с любимой мягкой игрушкой. Худрук совсем не был похож на бабушку, щеки его поросли колючей, сухой, седой щетиной, маленькие глазки резали лезвием, внешней симпатичности в нем не рисовалось никакой, но все же кое-что в нем было другое: он был великим артистом с нечеловеческим обаянием, и стоило ему открыть рот, как девушек до пят парализовало на любовь.

Рука ее снова самодельно вздрогнула; безотчетно и отрешенно протянулась она к узлу на галстуке, схватила его, сдвинула на правильное место и остановилась.

Худрук умолк. В предлагаемых – по Станиславскому – обстоятельствах сей жест прописан не был, и как его отыграть великий артист не знал.

Поняв, что сотворила, Вика поспешно отступила, словно отскочила на шаг, зарделась, и быстро-быстро принялась извиняться.

– Армен Борисович, я чисто автоматически, у меня папа военный, я привыкла к порядку. Извините!

Однако извиняться, оказалось, не требовалось. Он прочел в ее жесте подлинную искренность, оценил ее и обмяк.

– Ты меня извини, – просто отреагировал он, коснувшись галстука. – Торопился, не усмотрел. Бывает с нами, старыми...

И странными взглядами как бы по поводу галстука мгновенно обменялись они, взглядами, в которых недоразумение смешалось с любопытством и каким-то новым неясным смыслом – каким, обоим было непонятно, но оба вдруг сообразили, что этот смысл и есть отныне их общий секрет, который, даже не распознав, стоит поскорее забыть потому, что это недоразумение вызвало общее сковывающее неудобство.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.